Георгий Адамович

О книгах и авторах

Заметки из литературного дневника



Париж

1967

Георгий Адамович

О книгах и авторах

Заметки из литературного дневника

Париж
1967

В предлагаемой брошюре собраны некоторые из очерков, переданных в последние год—два радиостанцией «Свобода».

Читатель сколько-нибудь внимательный заметит, конечно, что, как навязчивая мысль, повторяется в них одно и то же утверждение: необходимость ознакомления молодежи с творчеством писателей ей сейчас почти недоступных, но без которых русская культура не была бы тем, что она есть. Это повторение может при чтении показаться монотонным и утомительным. Но очерки передавались с большими промежутками, и каждый раз, как они касались, скажем, Розанова или Льва Шестова, мысль о русских людях, в лучшем случае знающих только их имена, возникала сама собой.

Согласие с каждым из упомянутых авторов вовсе не обязательно. Влияние того или иного мыслителя на юные умы, может быть, даже не всегда и желательно, — и не о согласии или влиянии в моих очерках речь. Речь исключительно о том, что русский духовный мир богат, своеобразен, противоречив и сложен и что рано или поздно новые русские поколения должны будут это драгоценное наследие принять, как именно им завещанное.

Георгий Адамович.

Бердяев в России и во Франции

Николай Бердяев был выслан из советской России в 1922 году вместе с группой других писателей и ученых. С тех пор имя его лишь крайне редко мелькало в московской печати и притом неизменно с нелестными эпитетами — «контрреволюционер», «мракобес», «враг народа» и так далее. В советской энциклопедии ему уделено всего несколько пренебрежительных строк. Едва ли можно сомневаться, что новые читатели, новая русская молодежь о нем почти ничего не знает, за исключением людей особенно пытливых, способных выискивать исчезнувшие с книжного рынка издания, рыться в архивах, просматривать старые, дореволюционные журналы.

А между тем на Западе имя Бердяева окружено уважением и признанием. Без преувеличения можно сказать, что из всех русских мыслителей он сейчас на Западе самый влиятельный и вместе с тем самый популярный. Умер он в 1948 году, проведя в эмиграции двадцать шесть лет. Написал за это время ряд книг, переведенных на главнейшие европейские языки, прочел множество лекций, деятельно участвовал в западной интеллектуальной жизни. Как бы ни относиться к основным его идеям, как бы ни оценивать творчество его в целом, нельзя не признать, что фигура эта была очень крупная.

Рано или поздно будет это понято и признано и на его родине. Но произойдет это, конечно, лишь тогда, когда отменена будет правительственная опека над знаниями и умственным кругозором русских читателей, то есть когда книгам Бердяева будет открыт доступ в Россию. Несомненно, наряду с согласием возникнут возражения, возникнет критика, это естественно: так бывает всюду, где у ли-

тературы нет общеобязательной, заранее установленной программы. Но во всяком случае читатели убедятся, что слава Бердяева не случайна и что мысли его внимания заслуживают.

Недавно вышла книга о нем, принадлежащая перу Люсьенны Жюльен Кэн — жене известного ученого, директора парижской Национальной библиотеки. Название книги «Бердяев в России». Автор поставил себе задачей рассказать о юности и раннем творчестве мыслителя, который стал на Западе известен лишь во второй половине жизни. Многие его западные читатели и ученики, вероятно, спрашивали себя: из какой среды он вышел, этот убежденный и неутомимый апологет личной свободы как верховной духовной ценности, с кем он встречался и сотрудничал, кем был на родине окружен? В книге даны нужные сведения, а помимо того в ней немало рассказов и рассуждений о России вообще, о том, в какой мере ее историческое развитие может на Западе быть понято, а в какой останется ему чуждо.

«Умом России не понять, аршином общим не измерить», — вспоминает автор знаменитые тютчевские строки и пытается растолковать иностранцам то, что в русской литературе их порой смущает и даже озадачивает.

Люсьенна Жюльен Кэн была дружна с Бердяевым, бывала у него в Кламаре, парижском пригороде, где он жил. По воскресеньям у него собирались поэты, молодые ученые, философы, и за чайным столом беседа шла на всех языках. Образ она рисует обаятельный, подчеркивая духовное благородство Бердяева, его искренность и независимость всех его суждений.

Интересно многое из того, что относится к последним годам пребывания Бердяева в России. Революция его взволновала, окрылила надеждами, вызвала у него умственный и душевный подъем. Но этот вечный бунтарь, смолоду известный своими левыми убеждениями, побывавший при царе и в тюрьмах, и в ссылке, с идеологией нового режима примириться не мог. На первых порах власть его, однако, не трогала. Бердяев в 1918 году был одним из основателей «Вольной академии духовной культуры» и сохранил самое отрадное воспоминание о слушателях (пре-

имущественно рабочих и солдатах), собиравшихся на его лекции. Одна из этих лекций «О науке и религии» особенно ему запомнилась. Ссылаясь — или, можно сказать, опираясь на Канта и приводя убедительные примеры, — он доказывал и объяснял, что самый просвещенный человек, самый великий ученый может верить и в Бога, и в бессмертие души, и что противоречия между верой и знанием, — так же, конечно, как и между атеизмом и знанием, — нет. Слушатели толпой провожали его до дому, задавая бесчисленные вопросы, волнуясь, недоумевая, а порой и споря.

Долго длиться деятельность Бердяева в России после революции, однако, не могла. Дважды он был арестован. Допрашивал его лично Дзержинский в присутствии Каменева. Допрос носил характер скорее философский, чем политический, и никаких обвинений Бердяеву предъявлено не было. Однако третий арест кончился постановлением о высылке Бердяева из пределов Советского Союза с указанием, что в случае нелегального возвращения он будет расстрелян.

На Западе с русской эмиграцией у Бердяева создались отношения сложные. С главнейшими ее деятелями он во многом расходился, и споры с ними, неизменно державшиеся на высоком умственном уровне, должны бы еще найти своего историка. В нескольких словах дать сколько-нибудь отчетливое представление о духовном облике Бердяева невозможно. Скажу только, что руководящей его мыслью, основным его творческим побуждением была необходимость сочетания личной свободы, — без которой человек превращается в машину или животное, — с социальной справедливостью. Он видел все препятствия стоящие на этом пути и стремился убедить, что приемлем будет лишь тот общественный строй, где они окажутся полностью преодолены.

Бунин — поэт

Первый из восьми томов издаваемого в Москве собрания сочинений Бунина содержит исключительно стихи, и, перелистывая его, невольно возвращаешься к вопросу о месте и значении бунинской поэзии в общем его литературном наследии.

Сам Бунин чрезвычайно дорожил своей репутацией поэта и, по-видимому, считал, что в его творчестве стихи не менее ценны, не менее значительны, чем проза. Говорю «по-видимому» потому, что от разговоров на эти темы он уклонялся, — по крайней мере на склоне лет, — и о мыслях его, с ними связанных, приходилось только догадываться. Несомненно, Бунин знал, что младшие современники относятся к его стихам более или менее прохладно. Правда, он помнил, что когда-то, в первые тридцать—сорок лет его жизни, таково же было отношение и к прозаическому его творчеству. Но с тех пор положение резко изменилось, и «Деревня», «Суходол» или «Господин из Сан-Франциско» прочно обеспечили ему место в ряду крупнейших новых русских писателей. Со стихами этого не произошло. Если слава былых властителей поэтических дум — Бальмонта и даже Брюсова — потускнела, померкла, то имя Александра Блока не утратило ничего из прежнего своего обаяния, и, конечно, стихи Блока имели и до сих пор имеют гораздо больше воздействия и признания, чем стихи Бунина. Да и кроме Блока было в наш век несколько других поэтов, о которых можно бы сказать то же самое.

Если возникал разговор о современной русской поэзии, Бунин большей частью отшучивался, а то и хмуро, угрюмо отмалчивался. Но помню, однажды он сказал: «Неуже-

ли вы думаете, что я не понимаю, чтó вас всех к Блоку притягивает? Понимаю, знаю, чувствую. Но преувеличиваете вы его ужасно! Музыка или то, что Зинаида Гиппиус называет «магией», — это в стихах его, конечно, есть. Но со словом он обращался Бог знает как! Впрочем, не он один, а все его окружение».

Передаю я это бунинское замечание едва ли совершенно точно: прошло с тех пор ведь лет двадцать, не меньше. Но за общий смысл его слов я ручаюсь и думаю, что до известной степени в них можно найти ключ к свойствам бунинской стихотворной лирики и к общему его представлению о поэзии.

Стихи Бунина превосходно написаны. Стилистически они так же безупречны, как и его проза. Но при блеске и редкой отчетливости стиля, при несравненной чистоте языка, они бедны музыкой и, так сказать, не «поют». В них мало строчек, которые с неотвязной силой врезывались бы в память и навсегда запоминались бы. Все хорошо в этих стихах, все находчиво, образно, красочно, умно, зорко, правдиво, — и все-таки нет в них чего-то такого, что придает иным, казалось бы, обычным словосочетаниям волшебную прелесть. Нет тех ритмов, тех звуков, которыми пленяет и околдовывает Блок.

Считал ли это недостатком своей поэзии сам Бунин? Не берусь об этом судить. Именно потому, скажу еще раз, что о стихах своих он говорить не любил, вероятно, чувствуя в собеседнике некоторое безразличие к ним. Безразличие это было в самом деле распространено. Иногда, в пору расцвета русской литературной жизни в Париже, при спорах о поэзии на каком-нибудь собрании дело доходило до того, что о Бунине, как о поэте, просто-напросто забывали, и случалось это не раз. Называли имена Блока, Анненского, Гумилева, Ахматовой, Ходасевича, Мандельштама, Пастернака, некоторых других, а о Бунине никто не упоминал. Бывало, он сидел тут же, в первых рядах, по привычке делая вполголоса с места иронические замечания, и все присутствующие, все спорившие знали, помнили, что это — большой русский писатель, гордость нашей новой литературы. Но забывали, что это и поэт.

Перечитывая стихи Бунина, даже самые ранние, те, ко-

торые включены в первый том его сочинений, приходишь к заключению, что оценены они были все-таки не совсем справедливо. Да, музыки в этой поэзии маловато. Но в ней множество других достоинств, иных, чем, скажем, у Блока, но бесспорных, очевидных. Несправедливость возникла по вине символистов, приучивших главным образом вслушиваться в стихи, вникать в их напев и внушивших пренебрежение к их непосредственному, дословному содержанию. А ведь Пушкин, Лермонтов или Тютчев требуют и того, и другого. Можно возразить, что Бунин не столько их продолжатель, сколько один из талантливых их эпигонов и что родословную его надо вести скорей всего от Майкова или Полонского. Это верно: ничего нового в поэзии он не создал. Но инстинктивное, упорное его отталкивание от поэтики символистов было все же кое в чем оправдано, и, вероятно, в будущем это будет признано. Есть много шансов, что правдивые, скромные, духовно честные бунинские строчки переживут в нашей литературе иные пышные вычуры или словесные туманы, казавшиеся когда-то полными глубокого смысла.

Лучшие стихи Бунина — как и лучшая его проза — написаны, конечно, во второй половине его жизни, после революции, и надо надеяться, это тоже будет когда-нибудь полностью признано. К сожалению, теперь и в предисловии, и в примечаниях повторяются неизменные, избитые или правильнее сказать — набившие оскомину утверждения, что в эмиграции писатель ослабел, выдохся, и к творчеству своему ничего ценного не добавил. Бунин приходил в ярость, читая или слыша подобные высказывания. Он до старости был полон сил и не мог примириться с такими суждениями, считая их клеветой.

С выходом всех восьми томов его сочинений советским читателям представится возможность убедиться, что до конца дней он действительно становился все более взыскательным, все более строгим к себе художником.

Вячеслав Иванов

Вячеслава Иванова с тех пор, как он уехал из России после октябрьского переворота, никогда не переиздавали. Однако в общественных библиотеках и, уж наверное, у библиофилов должны быть старые издания. Напоминаю названия его главных книг: сборники стихов «Кормчие звезды», «Кор арденс» (по-латыни «Пылающее» или «Пламенеющее сердце») и «Нежная тайна»; два сборника статей: «По звездам» и «Борозды и межи»; трагедия в стихах «Прометей». Вячеслав Иванов был эллинист, и ему принадлежит перевод Эсхила. Те, кто внимательно читал Блока, помнят помещенное в третьем томе его стихов послание к Вячеславу Иванову. Недавно в Англии вышел посмертный сборник его стихов.

Новым советским читателям имя Вячеслава Иванова мало что говорит, и даже молодые поэты знают о нем, вероятно, лишь понаслышке. Символист, философ, мистик, ученейший классик, когда-то имевший огромный авторитет и очень большое влияние. В его квартире в Петербурге (на Таврической), известной под названием «башня», по вечерам (или вернее по ночам) собирались Блок, Андрей Белый и весь цвет тогдашней русской интеллигенции; там бывала и литературная молодежь, раз или два был Хлебников; там однажды появился даже Маяковский, хотя уже и носивший ярко-желтую кофту, но державшийся сравнительно скромно и молчаливо, с ученической почтительностью слушавший критические замечания хозяина о его стихах. . .

Все это было очень давно. Последний сборник стихов Вячеслава Иванова «Нежная тайна» вышел в 1912 году и ко времени революции стал библиографической ред-

костью. Не удивительно, что о нем в России успели забыть.

С тем бо́льшим удовлетворением надо приветствовать появление большой книги «Свет вечерний», куда включены почти все стихи, написанные Ивановым во второй половине жизни, вплоть до его смерти в 1949 году. Книга издана в Оксфорде на средства отчасти университетские, отчасти собранные по подписке, и издана с той тщательностью, с тем неподражаемым отпечатком какой-то особой типографской культуры, которым неизменно отличаются лучшие английские издания от всех других.

В составлении сборника принял ближайшее участие сын поэта Дмитрий. Обстоятельное предисловие (на английском языке) написано профессором Баура — человеком с большим литературным именем, известным критиком и переводчиком, одно время занимавшим в Оксфорде кафедру профессора поэзии. Да, такое внимание к творчеству русского поэта, которого с полным основанием можно, пользуясь выражением Жуковского, назвать поэтом «для немногих», такое внимание надо отметить как факт редкий и радостный. Мысль о таком издании могла возникнуть только у людей, не гонящихся ни за корыстью, ни за легким, шумным успехом. Иллюзий у них, конечно, не было, и нужна была глубокая, чистая преданность литературе, чтобы за подобное предприятие взяться.

Что сказать о содержании сборника, о поэзии Вячеслава Иванова, какой она в этой книге предстает? Поэзия — это трудная, требующая от читателя усилия и напряженного умственного сотрудничества. В ней много мыслей, подчас мыслей глубоких. Ее духовный уровень очень возвышен, тон торжествен и патетичен. Без преувеличения можно сказать, что Вячеслав Иванов «парит» и из своих заоблачных просторов почти никогда на бедную нашу землю не спускается. Он любит славянизмы, чувствует неодолимое пристрастие к архаическим оборотам речи и, подобно Ломоносову, по-видимому, склонен считать, что из трех стилей соответствует поэзии лишь самый высокий. Таков он был прежде, таким остался до последнего написанного им стихотворения. Нет, однако, сомнения, что тесному, замкнутому кругу читателей поэзия Вячеслава Иванова близ-

ка, нужна и дорога. Вот два стихотворения из «Света вечернего»:

1.

Я посох свой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает сам дорогу,
Какой меня ведет в свой дом.

А где тот дом — от всех сокрыто.
Далече ль он — утаено.
Что в нем оставил я — забыто,
Но будет вновь обретено,

Когда от чар земных излечен
Я повернусь туда лицом,
Где — знает сердце — буду встречен
Меня дождавшимся Отцом.

2.

Европа — утра хмурый холод
И хмурь содвинутых бровей,
И в серой мгле Циклопов молот,
И тень готических церквей.

Россия — рельсовый, широкий
По снегу путь, мешки, узлы.
На странничьей тропе далекой
Вериги или кандалы.

Земля — седые океаны
И горных белизна костей.
И — как расползшиеся раны
По телу — города людей.

Вячеслав Иванов, скончавшийся в глубокой старости, провел последние десятилетия своей жизни в Италии, где окружен был редким для иностранца уважением и признанием. Умер он в Риме, городе, к которому был привязан какой-то особой, сыновней любовью, о чем красноречиво свидетельствуют стихи в этом сборнике «Свет вечерний».

Большой поэт
и большой человек

Имя Анны Ахматовой стало известно и широко популярно в России больше полувека тому назад. На Западе слава Ахматовой утвердилась много позднее, но в настоящее время стихи ее переведены на большинство европейских языков и написано о ней немало статей. Творчество Ахматовой изучается в университетах. В последние два года о ней настойчиво говорили как об одном из кандидатов на Нобелевскую премию.

Известность Ахматовой можно, следовательно, без натяжки назвать мировой. Гораздо более спорен вопрос о ее влиянии на современную мировую поэзию, и надо сразу подчеркнуть, что спорность эта относится не столько лично к Ахматовой, сколько ко всем русским стихотворцам без исключения. Даже величайшие наши поэты — Пушкин, Лермонтов, Тютчев — оказали на западную поэзию влияние сравнительно слабое, несоизмеримое с их значением и гениальным дарованием. Объясняется это до крайности просто: малой распространенностью русского языка и тем, что по-настоящему оценить поэта можно только читая его в подлиннике.

Меримэ в присутствии Виктора Гюго — и к великому его изумлению — назвал Пушкина первым поэтом девятнадцатого века. Но Меримэ знал русский язык и лишь благодаря этому проявил редкую по тем временам прозорливость. Разумеется, влияние русской литературы сейчас на Западе огромно, но это — влияние прозаиков, главным образом Толстого и Достоевского. Влияние поэтов очень ограничено, и отрицать это можно лишь при склонности к заведомому искажению фактов. Ахматова или Блок, Пастернак или Маяковский имеют, конечно, от-

дельных последователей, учеников, исключительных, страстных почитателей, но именно в порядке исключения.

С Ахматовой дело осложняется еще и тем, что она особенно строго соблюдает логическое развитие стихотворной речи. Профессор парижской Сорбонны Софи Лафитт в предисловии к сборнику ахматовских стихов пишет, что каждое из этих стихотворений — «маленькая, сжатая, реалистическая драма». Совершенно верно! Верно и то, что Ахматова следует пушкинской традиции, обновляя ее и по-своему ее модернизируя. Но на Западе, у западных поэтов логика сейчас не в почете, и началось это наступление на нее очень давно, чуть ли не сто лет тому назад. Малларме строил большинство своих стихотворений как ребусы; Верлен призывал «свернуть красноречию шею». Мне вспоминается в связи с этим появившаяся года полтора тому назад заметка Клода Мориака об Ахматовой. Клод Мориак (сын знаменитого романиста Франсуа Мориака) — критик, специализировавшийся на такого рода новизне, как «новый роман», пропагандируемый Аленом Робб-Грийе и Натали Саррот, или поэзии, основным свойством которой является то, что при малейшей попытке передать ее своими словами, без поддержки ритма, она превращается в совершенный абсурд.

Мориак писал об Ахматовой с подчеркнутым уважением, как о большом, общепризнанном поэте, однако и со сквозившей между строками растерянностью, будто от бессилия перешагнуть через пропасть, отделяющую ахматовские «маленькие, сжатые драмы» от привычной для него лирики, ускользающей от рассудочного анализа и неизменно украшенной пышными образами. Кстати, достойно внимания, что у Ахматовой образов и метафор крайне мало, в чем с особой очевидностью обнаруживается ее верность Пушкину, его сдержанности и его непогрешимому вкусу.

Было бы интересно коснуться вопроса, так сказать, обратного, противоположного — об иностранных влияниях, испытанных Ахматовой, а заодно и о ее месте в современной поэзии, взятой как нечто единое, независимо от различия языков, школ и направлений. Но это потребовало бы много времени. Вся новая русская лирика, та, которую

принято теперь называть поэзией «Серебряного века», выросла и сложилась под влиянием французской послебодлеровской поэзии. Франция в этом смысле взяла реванш над Англией и Германией, владевших умами наших поэтов в век «золотой» — пушкинский. Ахматова не осталась в стороне от общего увлечения. Да и могло ли быть иначе, если вспомнить, что она долго жила в Париже и, будучи совсем юной, вышла замуж за Гумилева, видевшего во французской новой поэзии высшее достояние современной культуры? Могло ли быть иначе, если она была страстной поклонницей, а отчасти и ученицей Иннокентия Анненского и, — как сама недавно призналась, — «забыла все на свете», читая в гранках посмертный сборник Анненского «Кипарисовый ларец»?

Анненский из всех поэтов «Серебряного века» ведь тот, кто французов особенно тонко и верно понял и с неподражаемым своеобразием переложил на свой, глубоко русский лад. Ахматова читала французов с не меньшим, чем он, усердием. Не раз ее сравнивали с Анной де Ноай, самой крупной французской поэтессой последнего времени. Сравнение едва ли основательное. Анна де Ноай гораздо велеречивее, напыщеннее, театральнее Ахматовой и отдаленно схожа с ней, пожалуй, лишь в разработке типично женских напевов и тем. Но и в этом отношении Анна Ахматова ближе другой французской поэтессе, давно скончавшейся, однако до сих пор не забытой — Марселине Деборд-Вальмор, любимице Верлена. Здесь скорее родство, чем влияние: тот же горестный тон, то же отталкивание от внешних эффектов и порой та же острота выражений.

Думаю, не может быть сомнений, что Ахматова — самое крупное женское имя в истории русской поэзии. Замечательно в ее творчестве, однако, то, что, оставшись женщиной, она оказалась способной стать прежде всего человеком, Человеком с прописной буквы, отчего в отношении к ней и неуместно слово «поэтесса». Ахматова — не поэтесса, а поэт, всегда, во всем, о чем бы стихи ее ни говорили. В наше время она — поэт национальный, выразитель своей эпохи, каким был в начале столетия Александр Блок.

Мы, русские, это знаем. Иностранцы об этом догадываются и, догадываясь, все тверже этому верят.

Памяти Льва Шестова

Недавно исполнилось сто лет со дня рождения Льва Шестова, замечательного русского мыслителя. В связи с этим было бы естественно дать его краткую характеристику, перечислить его главнейшие труды, сказать несколько слов о его влиянии на тех или иных западных философов.

Шестов провел вторую половину своей жизни во Франции, где выпустил целый ряд книг. Столетие со дня его рождения было в Париже отмечено газетными статьями, передачами по радио при участии видных ученых и писателей. В Оксфордском университете было устроено собрание его памяти. У меня нет сведений о том, что было сделано в Америке, но не сомневаюсь, что и там о Шестове в эти дни вспомнили с уважением и признанием. И только на его родине не было ни произнесено, ни написано о нем ни слова, будто такого русского мыслителя никогда и не существовало!

Молодежь в Советском Союзе едва ли знает самое имя Шестова, и там сделано все возможное, чтобы так дело и обстояло. Но, вероятно, находятся пытливые, умственно встревоженные, духовно изголодавшиеся молодые люди, которым в какой-нибудь библиотеке удалось разыскать хотя бы только шестовский «Апофеоз беспочвенности» и провести над этой удивительной книгой (вышедшей в Москве более полувека тому назад) несколько плодотворных для своего развития часов. Увы, это — одиночки. Огромному же большинству молодежи Шестов, конечно, совершенно не известен, как неизвестен молодежи например Розанов, один из самых даровитых и оригинальных русских писателей двадцатого столетия, как неизвестен ей Константин Леонтьев, пусть и крайний консерватор, крайний,

непоколебимый реакционер, если угодно даже черносотенец, но человек исключительного ума и таланта, человек исключительной искренности, которого при всем различии во взглядах высоко ценил Лев Толстой.

Шестов, надо бы указать, не только не был творцом какой-либо стройной философской системы, но, вдумываясь и вглядываясь в системы, созданные до него, настойчиво, страстно стремился обнаружить в них внутреннее противоречие или хотя бы только трещину. Доверия к системам у Шестова не было. Он был широко образованным человеком, и упрекнуть его в недостатке внимания к великим метафизическим построениям прошлых эпох было бы невозможно. Начиная с Платона, он тщательно изучил и древних, и новых философов и разбирался в их творчестве безошибочно. Перед многими из них — и, в частности, перед тем же Платоном, — он глубоко преклонялся. Но особенно тянуло его к мыслителям, мучительно искавшим ответа на те вопросы, которые в былой русской литературе принято было называть «проклятыми». Мир, по убеждению Шестова, бесконечно загадочнее, чем в простодушии своем люди обычно думают; загадочнее, чем даже самый смелый и развитой ум в силах себе представить, — и доказать он хотел не какую-нибудь истину, а только то, что истина, так сказать, истинная истина — неуловима и недоказуема. В «Апофеозе беспочвенности», той ранней шестовской книге, о которой я уже упоминал, есть отдел, снабженный эпиграфом: «Для тех, кто не подвержен головокружению». Некоторые догадки Шестова способны были головокружение вызвать, и не случайно союзниками и учителями своими он считал не солидных, добросовестных профессоров философии, а тех великих писателей, которые из круга «проклятых» вопросов не в силах были выйти, и прежде всего — Толстого и Достоевского.

Нет ни одной книги, ни одной статьи Шестова, где он к творчеству Толстого или Достоевского не возвращался бы, связывая некоторые их темы с мыслями, нашедшими отражение то у Канта или Гегеля, а то даже у философов-экзистенциалистов, привлекших к себе внимание лишь в последние десятилетия.

Добавлю, что Шестов был бы, вероятно, одним из самых проницательных наших литературных критиков, если бы усерднее критикой занимался. Он писал прекрасным чистым русским языком, избегая стереотипных газетных выражений и мертвящего ученого жаргона. Он мимоходом делал о литературе и даже о поэзии своеобразные, всегда тонкие замечания. Есть у него и критические очерки, полностью посвященные тому или иному художнику, например, Ибсену и Чехову. Кстати, советским поклонникам Чехова, вероятно, интересно будет узнать, что Бунин считал статью Шестова о Чехове «Творчество из ничего» самым верным, лучшим и глубоким из всего, что о Чехове до сих пор вообще написано, хотя статья эта появилась очень давно — сразу после смерти автора «Вишневого сада». Бунин, связанный с Шестовым отдаленным свойством, дружил с ним и отзывался о нем с неизменным восхищением. «Что за человек!» — повторял он, удивляясь его уму, его скромности, готовности внимательно выслушивать любые, даже самые наивные возражения.

А вот в Советском Союзе о таком человеке забыли. Надо бы вспомнить о нем, а вместе с ним и о других забытых. Не для согласия, которое вовсе не обязательно, порой даже нежелательно, а для расширения кругозора, для понимания того, как многообразен духовный мир человечества.

Судьба Маяковского

Нет твердых, бесспорных оснований утверждать, что среди молодых советских поэтов идет сейчас нечто вроде «переоценки» Маяковского. Но, по-видимому, молодежь стремится установить свое, особое отношение к нему, отношение, не совсем сходящееся с тем, которое господствовало еще недавно. Интересна и показательна в этом смысле дискуссия, отчет о которой был помещен в июльской книжке журнала «Октябрь» за 1963 г.

Литературная судьба Маяковского сложилась так, как не могла бы она сложиться ни в одной стране, где существует свобода мнений. Всем известно, что при жизни поэта у него было множество врагов, с настойчивой яростью отрицавших его значение и даже его дарование. Однако вскоре после смерти Маяковского Сталин назвал его «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», и, разумеется, в тот же день, в тот же час язвительные критические выпады сменились сплошным славословием. Один из ораторов, выступавших на той дискуссии, о которой я упомянул, утверждает, однако, что «нет ничего ошибочнее мысли, будто слава Маяковского рождена отзывом Сталина».

Так это или не так, разбирать сейчас не станем. Но вот что удивительно: даже и теперь, когда по словам того же оратора «культ личности успешно преодолевается», даже и теперь нельзя себе представить, чтобы появилась в Советском Союзе статья, где в ценности творчества Маяковского были бы высказаны сомнения. В этом смысле положение его таково же, как и положение Максима Горького. Как и Горький, он до сих пор вне критики, он — над критикой, на недосягаемой для нее высоте, и, очевидно, чита-

тели с этим свыклись и не находят в этом ничего ненормального. А между тем единство и однообразие допускаемых в печать восторгов искусственно, и, наверное, оно не соответствует, да и не может соответствовать, истинному отношению к Маяковскому или к Горькому в многомиллионной стране. Должны же быть в Советском Союзе люди, которых Маяковский отталкивает, должны быть люди, которым Горький решительно не по душе! Есть, конечно, и критики, которые хотели бы такие взгляды высказать, — причем взгляды чисто литературные, отнюдь не политические, — но они молчат: ведь ни один московский журнал, ни одна газета подобной статьи не поместит.

Маяковский — великий поэт? Горький — великий прозаик? Допустим, оставим сейчас эти вопросы открытыми. Но ведь и Пушкин был, кажется, великим поэтом, а Лев Толстой был великим прозаиком. Между тем о Пушкине и при его жизни, и позднее писалось Бог знает что, и это ничуть не повредило его славе. Ткачев после выхода «Войны и мира» печатно заявил, что «в этом романе бездарно все, начиная с названия», и все-таки Толстой остался Толстым. Конечно, незачем подражать критикам-невеждам, критикам-тупицам, но надо бы понять, что полнейшее единогласие в критических оценках может быть объяснено исключительно боязнью, как бы не раздался начальственный окрик. Рано или поздно это насильственное единогласие, это общеобязательное славословие должно обернуться против тех, кого оно будто бы возвеличивает, и намеки на это можно найти в отчете о той же дискуссии, где сказано, например:

«Некоторые товарищи склонны полагать, что величие Маяковского связано именно с той формулой, которой он удостоился в годы культа... Они полагают, что критику культа следует распространить и на эту формулу о якобы лучшем и талантливейшем».

Несомненно, какое-то «переосмысливание» Маяковского намечается в наши годы повсюду — даже и вне Советской России, среди тех литераторов и ценителей поэзии, которые к поклонникам его не принадлежат. Огромный талант его почти никем уже не оспаривается. Однако признание таланта все-таки не то же самое, что возникнове-

ние любви к таланту, и надо сказать правду: есть люди, только поэзией или только для поэзии и живущие, и все-таки неспособные Маяковского полюбить.

Отталкивают не его приемы, не внешние особенности его поэзии, — да и как же не видеть, что он был неистощимо находчив в словосочетаниях, неистощимо остроумен и блестящ даже и тогда, когда ломал русский язык в угоду своим футуристическим прихотям? Пастернак упрекал Маяковского в снижении поэзии до прямой, практической пропаганды, до сочинения каких-то партийных частушек вроде знаменитого «Нигде, кроме, как в Моссельпроме». Нет, это бы еще куда ни шло, с этим бы еще можно примириться, тем более, что и сам Маяковский знал, конечно, таким упражнениям цену. Гораздо хуже то, что сквозит в самых прославленных поэмах его, охарактеризованных, кстати, на дискуссии как «бессмертные шедевры»: развязность, поза, ходульное, вызывающее панибратство со всем миром и даже с самой вечностью, самоуверенное похохатывание, отсутствие «словечка в простоте», отказ или прирожденная неспособность понять, что эти всевозможные «наплевать» или «к черту» — это всего лишь фофановщина или северянинщина наизнанку и что изнанка ничем не лучше лица.

А талант, повторяю, был огромный, редкий, и надо иметь «пробку вместо уха» (выражение Ремизова, впрочем, по другому поводу), чтобы этого не расслышать. На эстраде Маяковский бывал неотразим. Читал он свои стихи изумительно, как не прочтет ни один артист. Но напрасно было бы искать в его книгах того, что люди ищут и находят у Пушкина или у Тютчева, у Лермонтова или у Блока: он не только не даст им ничего глубокого, облагораживающего, неподдельно человечного, но отшвырнет их, да вдобавок еще и выругается.

Может быть, Маяковский сам чувствовал, что был по отношению к своему таланту предателем? Как знать! Умер он рано, умер трагически, и о том, как бы развивался дальше его талант, мы можем только гадать.

Василий Розанов

Творчество Розанова — одно из самых причудливых, оригинальных и замечательных явлений в русской литературе нашего столетия. Замечательна и судьба его. Со смерти Розанова прошло больше сорока лет, и с тех пор в его родной стране почти никто никогда о нем не вспоминает. Советская молодежь в большинстве своем не знает, вероятно, даже имени его. А между тем такие люди, как Блок и Андрей Белый, Лев Шестов и Бердяев, говорили о нем, как о писателе с проблесками гениальности, хотя и отдавали себе отчет во всем том, что может от Розанова оттолкнуть. Сложный это был человек, пожалуй, даже и порочный, сам о себе сказавший в одной из своих книг («Уединенное»): «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти».

Но ведь литература — отражение жизни с ее беспредельным разнообразием. Как в жизни, в литературе находит себе место все, что кроется в человеческом сознании и воображении. Читатель вправе одно любить, другое отвергать. Но в сотый, в тысячный раз хочется повторить: нельзя устанавливать над литературой надзор, а над читателем опеку; нельзя замалчивать писателя необыкновенно одаренного, необыкновенно искреннего, — и с горечью вспомнить об этом приходится именно теперь, когда на Западе к Розанову усиливается интерес. Достаточно просмотреть критические отклики на недавно вышедший во Франции перевод «Темного лика», — самой значительной из всех розановских книг, — чтобы в этом убедиться.

В короткой беседе нелегко дать характеристику Розанова, именно из-за его неповторимого своеобразия. Писал он, как никто другой, — однако не в том смысле, чтобы стиль

его был особенно блестящ, образен или красочен. Нет, блеска у Розанова не найти. Но никому до него не удавалось создать иллюзию полного слияния слова с мыслью, никто не писал с такой непосредственностью: будто каждая фраза — моментальная фотография мысли. Никакого красноречия, никаких гармонически закругленных периодов, а все же розановский стиль — подлинное волшебство, и об этом есть в дневнике Блока несколько очень верных замечаний.

Что Розанова волновало, о чем он говорил? К систематическому мышлению расположения у него не было. Но как навязчивой идеей он был одержим вопросом о сущности и исторической роли христианства, а отношение к христианству в его сознании трагически двоилось: он его и отвергал и вместе с тем был, как сам выразился, «ранен им в сердце», то есть не мог от христианства окончательно отойти. В «Темном лике» есть две статьи, полные такого огня и такой душевной боли, что в русской литературе они должны бы остаться навсегда: «Христос, Судья мира» и «Об Иисусе Сладчайшем» — едва ли не самое замечательное из всего, что Розанов когда-либо написал. Ему казалось, что христианство в корне подрывает радость жизни, вносит уныние, уводит человека с земли в заоблачные края, а к земле и ко всему, чем земная жизнь богата, он был страстно привязан и считал аскетизм во всех его формах каким-то темным наваждением. О любви, о половом влечении, о деторождении, о семье есть у Розанова страницы по-настоящему вдохновенные. До конца жизни он колебаний своих не преодолел и с неизлечимой, все усиливающейся «раной в сердце» остался при своем прежнем истолковании евангельской проповеди, — истолковании, конечно, спорном и вызывающем множество возражений.

Читая Розанова, убеждаешься, что внимание этого человека было неизменно обращено к основным вопросам жизни и культуры. Не к чему, однако, закрывать глаза на тот факт, что по своим политическим убеждениям Розанов был не только крайним консерватором, а реакционером, сторонником неограниченного царского самодержавия, но реакционером, ясно сознававшим обреченность

своих идеалов и предвидевшим их близкое крушение. Революцию он встретил с великой горечью, свидетельством чего остается его последняя книга — удивительный в своей искренности и печали «Апокалипсис нашего времени».

Не к чему, конечно, молчать и обо всем том, что при жизни Розанова не раз вызывало негодование... Противники настойчиво упрекали его в двуличии, теперь бы сказали — двурушничестве. По отношению к писателю настолько исключительному и личности настолько прихотливой это слово, пожалуй, не совсем правильно, хотя формально Розанов и дал повод к его употреблению, особенно во время знаменитого дела Бейлиса. Он считал, что при всяком судебном разбирательстве существуют доводы «за» и «против», и это теоретическое утверждение довел на практике до того, что писал в одной, левой, газете под псевдонимом горячие статьи в защиту Бейлиса, а в другой, правой, яростно доказывал его виновность.

Надо знать, какой всероссийский и даже всемирный шум вызвал процесс Бейлиса, какие вспыхнули страсти в связи с обвинением несчастного еврея в ритуальном убийстве, чтобы отдать себе отчет в том, каков был взрыв общественного возмущения, когда Розанов был изобличен. Друзья от него отвернулись. Поднят был вопрос о немедленном его исключении из всех литературных организаций. Если бы не вмешательство Вячеслава Иванова, поэта и философа, пользовавшегося в предреволюционные годы огромным влиянием и престижем, Розанов был бы подвергнут настоящему остракизму. Надо сказать, что речь Вячеслава Иванова на собрании писателей, — речь не то, чтобы в защиту Розанова, нет, а скорее в защиту бесконечной сложности человеческой психики, — речь эта была образцом подлинной мудрости. Не всех она убедила, но на всех произвела глубокое впечатление. Вячеслав Иванов вовсе не оправдывал действий Розанова, он признал их недопустимыми, но он отказался от роли судьи и побудил отказаться от нее и других.

Умышленно я остановился на том, что́ в деятельности Розанова может и даже должно показаться отталкивающим. Иначе создалось бы впечатление, к которому применимо слово «лакировка» — кстати, термин, в розановские

времена не употреблявшийся. Цель и смысл этой короткой беседы вовсе не в том, чтобы Розанова возвеличить, возвести на пьедестал, а в том, чтобы поставить вопрос: неужели новой русской молодежи не хотелось бы познакомиться с писателем, о котором столько было в нашей литературе споров, — с писателем в своем роде единственным? Неужели она, эта молодежь, умственно и духовно так беспомощна, так детски слаба, что нужно охранять ее от всяких чуждых влияний? Нет, наверно, это не так!

В Большой советской энциклопедии имя Розанова упомянуто. Надо бы радоваться и этому, потому что нет в ней многих имен бесспорно крупных: нет, например, имени Константина Леонтьева, писателя не менее замечательного, чем Розанов, высоко ценимого Львом Толстым, хотя взгляды его были для Толстого неприемлемы. Розанову в энциклопедии посвящено двенадцать строк. Сказано о нем лишь то, что он был врагом материализма, выступал в защиту религии, проповедовал идеализм и мистику, то есть не сказано, в сущности, ничего, и внушены эти строчки лишь стремлением отбить к Розанову интерес.

А в иностранной критической литературе можно прочесть другое. Например, в «Нувелль ревю франсэз», ежемесячнике влиятельном и авторитетном, говорится в связи с переводом «Темного лика», что творчество Розанова проникнуто внутренней музыкой и что это «великая музыка». Говорится и о том, что Розанов пишет так, будто не было Гуттенберга и что ни с каким другим писателем в мире спутать его нельзя, настолько он своеобразен. Газета «Монд» — другой авторитетный орган печати — подчеркивает, что каково бы ни было отношение к тем или иным суждениям Розанова, от книг его нельзя оторваться.

Да это говорили и русские писатели, мной уже упомянутые: Александр Блок, Андрей Белый, Лев Шестов... Разве все это не свидетельствует о том, что Розанов заслуживает больше двенадцати строчек в энциклопедии и что его творчество должно бы стать предметом настоящего исследования?

Новая книга о Толстом

О каком из великих писателей прошлого сейчас во французской печати особенно много толков? Чье имя то и дело мелькает в критических очерках, настойчиво упоминается в литературных беседах и спорах, передаваемых по радио? Несомненно — имя Льва Толстого.

Поводом к этому служит огромная (в 850 страниц) биография Толстого, написанная романистом Анри Труайя, членом Французской Академии, нашим соотечественником, настоящая фамилия которого — Тарасов. Спешу во избежание недоразумений подчеркнуть: только поводом. Конечно, о Толстом во Франции люди образованные помнили и помнят всегда. Но книга Труайя вновь возбудила внимание к его творчеству и жизни, вызвала интерес даже у людей к литературе равнодушных, и показательно, что в цифровых отчетах книжных магазинов этот тяжеловесный том, несмотря на высокую цену, стоит сейчас на первом месте.

А. Труайя — опытный, умелый и талантливый рассказчик. Были и, вероятно, еще будут книги более внимательные, пожалуй, даже более проницательные по отношению к так называемому «перелому» в духовном развитии Толстого. Но никому еще не удавалось написать нечто вроде романа о жизни Толстого — романа настолько увлекательного, что от него нельзя оторваться, особенно к концу, когда с каждой новой страницей представляется все неизбежней его трагическая развязка. Об этом с удивлением писал недавно Франсуа Мориак: все в сущности знаешь, знаешь, что примирения не будет, что Толстой из дому уйдет, а все-таки читаешь, вникаешь, порой останавлива-

ешься, вновь и вновь пытаясь найти объяснение разыгрывающейся драмы.

На ком лежит вина в том, что жизнь Толстого к концу была именно драмой? Как всем известно, многие склонны оправдывать Софью Андреевну. В особенности склонны к этому женщины, мысленно ставящие себя на ее место, сочувствующие ей как матери семейства и заботливой хозяйке дома. Труайя, по-видимому, колеблется в решении и никакого приговора не выносит. Толстого как человека он недолюбливает и далеко не всегда к нему справедлив, но отказывается и от безоговорочной защиты Софьи Андреевны, не скрывая ничего, что было в ее поведении действительно несносного и нестерпимого. А у читателя возникает впечатление, что решения и быть не может: что же делать, по прихоти или по ошибке судьбы у двух величайших русских писателей, Пушкина и Толстого, жены оказались не совсем такими, какими надлежало бы им быть! Но Наталья Николаевна Пушкина была просто ветреной, глупой кокеткой, а Софья Андреевна Толстая... нет, о ней этого не скажешь! Человек это был незаурядный, духовно даровитый, но измученный, больной, и, кажется, только перед самой смертью она поняла, что если уж выпала ей доля быть женой Льва Толстого, то единственный истинный ее долг заключался в том, чтобы служить ему и быть его верным, покорным и спокойным другом, ни в чем себя ему не противопоставляя. История поставила бы ей за это нерукотворный памятник, которого теперь она оказалась лишена.

Не буду задерживаться на отдельных спорных замечаниях или указаниях Труайя, на некоторых неточностях в его изложении. Коснусь только отношений Толстого к Достоевскому. Едва ли верно, что на пушкинские торжества в Москве Толстой не поехал потому, что опасался соперничества с Достоевским. Подозрение это решительно ни на чем не основано. Да к тому же признание автора «Карамазовых», как писателя с Толстым равноправного, возникло много позднее, в нашем столетии, и в русской критике положила этому признанию начало известная книга Мережковского о «тайновидце плоти» Толстом и «тайновидце духа» Достоевском. По утверждению Труайя, книга Ме-

режковского Толстого удивляла и раздражала. Любопытно сравнить с этим то, что рассказывал философ Лев Шестов после возвращения из Ясной Поляны.

— Что вы думаете о книге Мережковского «Толстой и Достоевский»? — спросил он Льва Николаевича.

— А разве есть такая книга? — ответил Толстой.

— Как, вы не читали книги Мережковского? Ведь о ней сейчас столько споров!

— Не знаю, не помню... Многое пишут, всего не прочтешь!

Шестов был с Мережковским в отношениях крайне натянутых и не преминул передать ему слова Толстого. Тот был озадачен, но согласился, что, по-видимому, Толстой был искренен и если даже видел книгу, о которой шла речь, то забыл ее.

Стоило бы сказать несколько слов о недавней двухчасовой французской радиопередаче, посвященной Толстому, с участием Труайя, Андрэ Моруа и других известных писателей. Моруа начал с категорического утверждения, что «Война и мир» — величайший из всех когда-либо написанных романов. Передача закончилась чтением, — что бывает не часто, — отрывков из «Смерти Ивана Ильича».

Слушая, я вспомнил, что, по мнению Джемса Джойса, высказанному в письме к дочери в последние годы жизни, Толстому принадлежит и величайший из всех когда-либо написанных рассказов. Это — «Много ли человеку земли нужно». Конечно, все подобные оценки случайны, всякое «местничество» в литературных суждениях произвольно и отражает большей частью только что испытанное впечатление. Иногда скажешь одно, иногда — другое. Спорить с Джойсом было бы поэтому не к чему.

Думаю, однако, что в вечер французской радиопередачи величайшим в мире рассказом была для большинства слушателей «Смерть Ивана Ильича».

«История русской философии» В. Зеньковского

Имя о. Василия Зеньковского, недавно скончавшегося в Париже, — большого, вдумчивого ученого, останется, вероятно, в нашей литературе как имя автора двухтомной «Истории русской философии». Зеньковскому принадлежит и несколько других книг, бесспорно ценных. Но его «История русской философии» — труд поистине незаменимый, без которого ни одна библиотека не может претендовать на полноту.

Утверждение это могло бы показаться голословным, не будь оно обосновано двумя фактами: во-первых, — общими особенностями русского философского мышления и, во-вторых, — советским нарочитым игнорированием, упорным замалчиванием того, что в этом мышлении наиболее своеобразно. Книга Зеньковского заполняет огромный пробел, восстанавливает справедливость в отношении целого ряда мыслителей, которыми Россия вправе гордиться.

Как всем известно, философия «профессорская» (если не ошибаюсь, ироническое выражение это принадлежит Шопенгауэру) ни популярна, ни распространена у нас никогда не была. Наиболее даровитые русские мыслители были скорее мечтателями-дилетантами, больше думавшими о судьбах человечества, чем, например, о преодолении противоречий в теории познания. У философов западных, — в частности, у Гегеля, сыгравшего в развитии русской мысли исключительную роль, — они брали преимущественно выводы, брали с тем, чтобы на этих выводах возвести, как на фундаменте, свое собственное здание. Метафизика волновала их сильнее, чем вопрос о границах знания. И даже Владимир Соловьев, вероятно крупнейший из русских философов, прошедший притом именно «про-

фессорскую» школу, с годами все ближе склонялся к размышлениям характера религиозного, все дальше отходил от исследований гносеологических, которым отдал дань на университетской скамье.

Русское мышление в лице даровитейших своих представителей — от Хомякова и Ивана Киреевского до Розанова и Шестова, до Бердяева и Булгакова — почти без исключения отмечено религиозной тревогой. Если бы советские историки противопоставили ему философию, так сказать, «чистую», отвлеченную, было бы еще полбеды. Но происходит нечто совсем другое: возвеличиваются в качестве «гениальных мыслителей» Белинский, Чернышевский, Добролюбов, не говоря уж о Плеханове и в особенности, конечно, о Ленине. Тенденция очевидна: подлинно значительным признается лишь то мышление, которое совпадает с позитивистски-рационалистическим представлением о мире и жизни. Все остальное — от лукавого, все остальное — будто бы бред, мракобесие, «поповщина».

Книга Зеньковского вовсе не полемична, она не очень заострена в противоположную сторону. Есть в ней страницы и о Чернышевском, и о Белинском, хотя при всех литературных заслугах последнего, его философскую наивность затушевать было невозможно. Книга Зеньковского необыкновенно ценна своим беспристрастием, а для будущего советского читателя окажется ценна как богатейшее собрание сведений, остававшихся для него недоступными.

Именно недоступными, неизвестными... Удивительно ведь вовсе не то, что взгляды, в которых чувствуется религиозное беспокойство, не встречают в советских руководствах по философии одобрения или сочувствия — это было бы в порядке вещей. Удивительно замалчивание, полнейшее игнорирование, и в этом смысле подлинным монументом по части насаждения невежества приходится — как это ни странно! — признать «Большую советскую энциклопедию». В ней, например, нет имени Константина Леонтьева, одного из замечательных русских писателей прошлого века: упомянуто несколько Леонтьевых — второстепенные врачи, техники или артисты... а Константи-

на Леонтьева просто-напросто нет, будто никогда его не существовало!

Однажды в Англии мне пришлось беседовать с московским студентом, членом советской делегации. Сначала речь шла о погоде и лондонских достопримечательностях, потом заговорили о литературе и, наконец, коснулись именно «Энциклопедии». Я упомянул о пропуске целого ряда лиц, в том числе Леонтьева. Студент с неподдельным любопытством сказал:

— Леонтьев? Да, да... слышал. Но ведь, кажется, это был черносотенец?

— Совершенно верно, черносотенец, крайний реакционер, больной, измученный человек, но человек огромного ума и таланта, бесстрашной искренности, редчайшей внутренней чистоты. Скажите, есть у вас в библиотеках бирюковская биография Льва Толстого? Есть? Ну, так вот там вы можете прочесть, что Толстой ездил к Леонтьеву в Оптину Пустынь, где тот был монахом, и потом записал в дневнике: «Долго и хорошо беседовали». Можете ли вы себе представить, чтобы Толстой в самый разгар своего духовного кризиса «долго и хорошо» беседовал с заурядным черносотенцем? И неужели писатель, и притом блестящий писатель, с которым Толстой нашел нужным в течение нескольких часов делиться своими сомнениями, недостоин упоминания в словаре, где о каком-нибудь скромном современном зоологе даны подробные данные?

Сейчас, по довольно уже давним воспоминаниям, я заостряю то, что тогда сказал московскому студенту. Было бы, по-моему, и глупо, и бестактно дразнить его, бросать ему вызов, на который он не мог бы ответить. Но смысл моих слов был именно таков, а юноша развел руками и уклончиво промолвил:

— Знаете, это разговор долгий...

На этом мы и расстались... Но думаю, что если бы этому студенту каким-нибудь чудом попалась книга Зеньковского, он с увлечением прочел бы в ней и прекрасную, чрезвычайно проницательную статью о Леонтьеве, и главу о Розанове, о котором в «Энциклопедии» можно найти только несколько пренебрежительных строк, и, например,

очерк, посвященный Данилевскому, автору в высшей степени замечательной книги «Россия и Европа», о котором в «Энциклопедии» сказано лишь то, что этот реакционный публицист полемизировал с Дарвином, — и многое другое из золотого фонда русской религиозно-философской или исторической мысли, остающегося по сей день для него под запретом.

Есть, однако, и в книге Зеньковского чрезвычайно существенный пропуск: забыт Лобачевский. Правда, Лобачевский был математиком, а не философом в точном смысле этого слова, но его догадка о возможности неэвклидовой геометрии имеет и для философии очень большое значение. А упомянуть о нем в книге по истории русской мысли стоило хотя бы в связи с Достоевским: в самом деле, Иван Карамазов в знаменитом своем разговоре с Алешей, в том разговоре, который кончается «Великим инквизитором», Иван Карамазов явно Лобачевского имеет в виду, когда признается, что отказывается постичь тайны мироздания, раз не в силах он понять даже того, что параллельные линии могут где-нибудь и сойтись.

Насколько мне известно, Зеньковский эту свою оплошность признавал и собирался в следующем издании «Истории» ее исправить. Но не успел.

СОДЕРЖАНИЕ: